

Игорь Померанцев

Czernowitz. Черновцы

Из новой книги

Книга Czernowitz



Я только-только вернулся из Черновцов, где проходил международный поэтический фестиваль. Рабочими языками были украинский и немецкий. Русский тоже звучал – благодаря Марку Белорусцу, киевскому переводчику Пауля Целана, и мне, – но он был скорее в роли гастарбайтера.

Мне показалось, что в течение трех суток в городе царил хаос. Но это был не холодящий кровь греческий хаос, а теплый, украинский. Из этого хаоса рождалась свобода и поэзия. В Черновцах безымянная студентка университета сделала мне комплимент, который я запомню навсегда. «Пане Ігорю, я вам дуже вдячна! Я ніколи не думала, що так можна писати вірші». («Пан Игорь, я вам очень благодарна. Никогда прежде не думала, что так можно писать стихи».)

Czernowitz – это книга. Да. Черновцы – это город, а Czernowitz – книга. Ее начали писать лет двести назад, когда в городе появилась первая гимназия, и пишут с тех пор не покладая рук. У каждого места – свой образ. Венеция – это вода, стекло и кинозвезды. Парма – это ветчина. А Czernowitz – это книга. У нее много голосов, и пишется она на разных языках. Ежегодно в сентябре в Венеции проходит кинофестиваль. Ежегодно в сентябре в Парме проходит фестиваль ветчины. В первую неделю сентября 2010 года в Черновцах прошел первый фестиваль поэзии.

Поэзия – это вариации на тему языка. Или импровизации на ту же тему. Переводы иностранных стихов чаще всего вызывают у читателя чувство смущения, даже недоумения. Чувство не обманывает. Когда поэзию вырывают с языковым мясом и подчиняют иному уставу, она испускает дух. У всякой национальной поэзии – свои коды, свои пароли. Они хранятся за семью печатями веками, иногда тысячелетиями.

Немецкий и украинский читатель испытывает то же счастье, читая талантливые стихи, но это счастье непередаваемо или, если угодно, непереводимо. Мне кажется, я знаю, в чем секрет немецкой поэзии: она упрямо отвоевывает свободу у жесткой немецкой грамматики. А в чем смысл украинской поэзии? Это в высшей мере трагический смысл: украинский язык выжил благодаря поэзии, выжил в поэзии. У англосаксов другая драма: это многовековая борьба между англо-германскими корнями с одной стороны, и латинскими – с другой. Хоть умри, в переводе этого не передать. Потому-то переводчики похожи на героев древнегреческой трагедии: они обречены, но все равно борются с роком, судьбой. Эта борьба бывает столь захватывающая, что следить за ней и сопереживать просто упоительно.

Под музыку Шопена

Впервые я услышал этот марш, когда мне было шесть лет. Я жил тогда в Черновцах на улице неподалеку от кладбища. В те далекие времена усопших хоронили на грузовиках. Грузовики медленно, я бы даже сказал, величаво плыли по городу, за ними шествовали безутешные родные и друзья умершего, а сам он лежал в открытом гробу в кузове, обложенный венками с креповыми ленточками. Мы жили на втором этаже старой австрийской виллы, и я мог из окна разглядывать безучастные лица трупов, траурное облачение массовки, раздутые щеки лабухов. В летние и зимние каникулы дня не проходило без похорон. Особенно по душе мне были зимние. Процессии увязали в снегу, и я, вооружившись театральным биноклем, мог буквально изучать телодвижения, мимику, слезоотделение. Иногда мне везло, и я мог наблюдать за этой церемонией по два-три раза на день. Я был уверен, что го-

род занят только одним: смертью и сопутствующими ей ритуалами. Почему-то меня не удивляло, что умирают не только старики и старухи, но и широкоплечие мужчины, цветущие женщины и даже дети. Однажды я увидел в гробу мальчика моего возраста с такой же челочкой, как у меня, и в таком же коричневом костюме с перламутровыми пуговицами. Все, кто шли за гробом, плакали навзрыд, но, к несчастью, их заглушал оркестр. Музыка лабухи всегда играли одну и ту же: траурный марш Шопена. Тогда я не знал, что это «марш», и что его сочинил человек по имени Шопен.

Спустя несколько лет мы переехали в другой район. К тому времени город изменил свое отношение к смерти, словно стал стесняться, сторониться ее. Процессии напрочь исчезли, трупы переселили в синие автобусы, лабухов спровадили на кладбище. В выходные я втайне от родителей ходил на чужие похороны, чтобы послушать музыку. Так началась для меня классика. Позже я услышал и горячо полюбил реквиемы Моцарта и Сальери, похоронную музыку из третьего акта вагнеровского «Парсифаля» и «У могилы Вагнера» Листа, «Begrabnisgesang» Брамса и его же «Траурную оду», «Danse Macabre» Сен-Санса и «Реквием для Ларисы» Сильвестрова...

Уже много лет я хожу в крематории и на кладбища, только когда для этого есть серьезный повод. Мне больше незачем примазываться к чужим процессиям. Кладбищам я предпочитаю концертные залы. Что может быть прекрасней музыки?

Глазами нацмена

Я был пятилетним малышом, когда родители привезли меня из Забайкалья в Черновцы. Мы приехали всей семьей: мама, папа, старший брат Валентин и я. В Черновцах в пять лет, оставаясь младшим братом, я стал еще и старшим братом седовласых гуцульских стариков и отвислогрудых гуцульских старух. В отрочестве мне это даже льстило. Я был очень хорошим старшим братом: младшим сочувствовал, не смотрел на них свысока и с имперским любопытством учил их язык. Лет в восемнадцать я понял, что не хочу больше играть эту роль и не хочу принадлежать к тем неисчислимым миллионам людей, которые без тени самоиронии называют себя «ве-

ликим народом». В 1965 году я поступил на первый курс Черновицкого университета и чуть ли не на первой лекции догадался, почему не хочу. Преподаватель истории КПСС спросил аудиторию, на каком языке читать лекции: на русском или на украинском. Нас было человек шестьдесят. Полсотни студентов-гуцулов на вопрос доцента ничего не ответили. Но десять «старших братьев» дружно рявкнули: «На русском!». Кажется, в эту минуту я впервые подумал, что государство, в котором дружба народов провозглашена официальной идеологией, долго не протянет.

Я ошибся. Оно еще тянуло бесконечно долго: я не об историческом времени, а о проживаемой человеком его единственной жизни. Но в конце концов, грохнулось, ушло в исторический осадок, царство ему подземное со всеми хтоническими кошмарами! К тому времени я уже жил в Англии, которая преподавала мне бесценные уроки национального и колониального отрезвления. Но до самого отъезда из СССР я все равно тянул ляжку старшего брата. Я это чувствовал даже на допросах в КГБ: меня журили, оспаривали мои литературные пристрастия, но морду в кровь не били, а после в психушку не запихивали, не стирали в лагерную пыль, как это было принято делать с моими «младшими братьями». А в Англии я резко помолодел и снова стал младшим братом в прямом смысле: младшим братом Валентина.

В ноябре 2008 года я приехал в Вену на Дни украинской литературы. Вместе с румыном и австрийцем меня пригласили как русского писателя, имеющего отношение к Украине. Я выступал вместе с полудюжиной украинских писателей и поэтов. На душе у меня было легко: мне нравилась роль нацмена. Мне нравилось чувство юмора музы истории Клио. Благодаря ее иронии в шестьдесят лет я снова почувствовал себя малышом, тем самым, который когда-то рос в Забайкалье и обожал маму, папу и старшего брата Валентина.

Есть ли у вас «малая родина»?

Я родился в государстве, которого больше нет. Никакой ностальгии по нему я не испытываю: слишком жестоким оно было к моим близким и дальним. Но сиротой я себя не чувствую. У меня есть «малая родина»: Черновцы. С этим городом мне повезло. Его

дома, улицы, площади цитировали другую – австро-венгерскую – эпоху, и я вырос на этих цитатах. После в стихах и прозе я десятилетиями цитировал свой город:

Мой городок, из труб не дым, а дымшиц.
Вот он летит с ухмылкой и слезой.

Я не знаю, что бы я писал, и вообще, писал ли, если бы вырос в Нижнем Тагиле или в Нукусе. В английском языке нет выражения «малая родина». Но в мировой литературе «малой родине» уже не меньше двух тысяч лет (Плутарх: «Что до меня, то я живу в маленьком городе и, чтобы он не сделался еще меньше, охотно в нем остаюсь»). Писатели разных литератур и эпох часто признаются в любви к своим «малым родинам». Для Пушкина «малой родиной» была Москва. После, когда Москва раздалась вширь, малыми родинами московских писателей, драматургов, поэтов стали Арбат, Замоскворечье, Чистые пруды... Я говорю о литераторах, потому что они описывают мысли, чувства, впечатления, присущие всем людям. Образ «малой родины» не всегда романтичен. Например, украинец Сергей Жадан о своей Луганщине пишет «жесть». Мне интересно, какие отношения с «малой родиной» у других людей, не писателей. Особенно мне интересно, что думают, как вспоминают «малую родину» бывшие советские люди. Да, государства, в котором они жили, больше нет. Но память осталась. Я бы назвал эту память имперско-колониальной. Почему бы не поделиться?

«Дети до 16 лет»

Когда-то этот городской парк культуры и отдыха носил имя М.И. Калинина. Теперь это парк имени Т.Г. Шевченко. Город по-прежнему остался «Чернівцями», хотя в скобках в его биографии перечислены еще несколько имен «Чернівців» на разных языках. Я хорошо помню этот парк. Мне было лет десять или одиннадцать, когда в Черновцы приехал джаз-оркестр под управлением Малагамбы. Это был румынский оркестр. В Москве уже аплодировали Вану Клиберну, Иву Монтану, перуанке Име Сумак, а в Чер-

новцах музыку всей заграницы представлял Малагамба. В Румынии он считался лучшим ударником Бухареста всех времен, а у нас он был лучшим ударником мира. Вместе с мальчишками моего двора я приходил в парк, чтобы из-за высокого забора послушать заморские ритмы. Щелей в заборе не было, и мы становились друг другу на плечи, вытягивали шеи, и так хотя бы минуту пожирали глазами и ушами неугомонного Малагамбу. В зал нас не пускали: до 16 лет нам еще оставалась целая вечность.

Я вспомнил об этих концертах в начале сентября 2011 года на поэтическом фестивале в Черновцах. Меня попросили сказать несколько слов поэтам из разных стран в гостинице, расположенной напротив городского парка, и я поделился с ними детскими воспоминаниями. После ко мне подошел румынский поэт и сказал, что его отец тоже был «малагамбистом». В течение недели в городе звучали стихи на полудюжине языков и даже диалектах этих языков: гуцульском, немецко-швейцарском, немецко-австрийском. Но я снова и снова вспоминал о Малагамбе. Тогда, в конце пятидесятых, не только дети, но и все советские люди были «до 16 лет». Их не пускали, не подпускали, не выпускали. До перестройки еще оставалась целая вечность. Вся нация вытягивала шею, чтобы хоть краем глаза увидеть, что же происходит за железным занавесом. Иногда удавалось не только увидеть, но и что-то услышать. Джаз был для меня тем же, что для детей с недобором кальция – мел. Он был гулким эхом свободы. Был и остался. Уже в Праге в XXI веке я написал о нем стихи:

Ее можно назвать
«побегом раба».
Ночью он крадетсЯ из загона,
походя глядя псов.
Подымается к ручью
и пускается во все лопатки
вверх по течению.
Бежит грузно, сосредоточенно.
Ему вслед шипят гремучие змеи
и облизываются пиявки.
Он рвет на Север к границе штата Теннесси.

Днем будет спать,
а ночью снова рвать на Север.
О чем я?
Верно.
О джазовой импровизации.

Кладбищенское хозяйство

Несколько лет назад я перевел стихи Тamar Радцинер (1932-1991), австрийской поэтессы, пережившей Освенцим. В них были такие строки:

«Молодой человек
из муниципалитета
настаивал:
«Ну хоть какой-то
документ в Освенциме
у вас был!».
– Господи, – сказала я. – Господи.

Ирония поэтессы понятна. Но и молодой чиновник что-то чувал и был прав: нацистская карательная бюрократия при всех обстоятельствах оставалась бюрократией. Людей не жалели, но документы хранились с тщанием, и на суд потомков их передали в удовлетворительном состоянии. Я вспомнил эти стихи, разговаривая с другим австрийцем, одним из руководителей общества «Черный крест». Это организация, которая опекает могилы австрийских солдат и военнопленных, погибших в разных странах во время двух последних мировых войн. О русских, похороненных в Австрии, «Черный крест» тоже заботится, и это реальная забота: поиски в архивах документов, уточнение имен, перезахоронение, все то, что принято называть «увековечиванием памяти». Австриец рассказал мне, что недавно побывал во Львове и что ему много чего удалось там сделать для соотечественников при содействии городских властей, и что вскоре он поедет с той же миссией в Черновцы. В разговоре я назвал ему имя «московского Сократа», мыс-

лителя Н.Ф. Федорова, мечтавшего воскресить всех умерших «отцов». Это была не утопическая идея. Федоров предлагал вести практическую работу по осуществлению своего замысла непосредственно на кладбищах. Оказалось, что мой австрийский собеседник тоже «федоровец» и относится к мыслителю всерьез.

В ГУЛАГе система учета живых и мертвых существенно уступала нацистской. Мертвых чаще всего складывали в штабеля, а хоронили в ямах и рвах. До сих пор в России каждый год находят массовые захоронения эков. Когда-то советские патриоты возмущались писателем-современником, назвавшим СССР «раковым корпусом». Но СССР был не только «раковым корпусом», но и гигантским запущенным кладбищем. До сих пор не все жертвы террора названы поименно, а братские и индивидуальные могилы не приведены в порядок. Пока этого не произойдет, образ России, мне кажется, будет ассоциироваться с кладбищем. Современные ученые считают, что идея Н.Ф. Федорова «собираения из атомов» и воскрешения усопших имеет самое прямое отношение к нанотехнологиям. А они, кажется, на подъеме. Так что напрасно Федорова называли чудаком и фантазером. Его могила на кладбище Скорбященского монастыря тоже, увы, не сохранилась. Летом там гоняют в футбол, а зимой весело колотят клюшками по льду.

Слово о мифе

Выступление на дискуссии «Миф Черновцов» на книжной ярмарке в Лейпциге. В Германии город Czernowitz ассоциируется с именами классиков австро-немецкой поэзии, живших в городе между двумя мировыми войнами.

Тема дискуссии «Миф Czernowitz» вынуждает участников подумать о своей роли в мифологии этого города. Вакансий осталось немного. Иерархия городских богов и героев уже утверждена, и разжалованию в ней никто не подлежит. Ну, какой же бог уступит свое место или потеснится, если на кон поставлено бессмертие? Герои тоже не теряют надежды прорваться в вечность. Мне кажется, я нашел роль для нас, не героев и не богов, в этой самой мифологии. Я бы классифицировал нас как кентавров. Во-

первых, мы, как и они, – тленные твари без видов на бессмертие. Во-вторых, некоторые кентавры были образованными и цивилизованными существами. У Хирона и Фола даже была репутация мудрецов, а Хирон, в отличие от прочих кентавров и кентавриц, был одет в хитон и обладал человеческими ушами. Ну и, наконец, главное сходство. Фигурально говоря, мы тоже собраны из двух частей, двух секций. Одной, так сказать, задней частью мы обращены в прошлое, которое называется Czernowitz. Другая же наша половина смотрит со сдержанным пессимизмом в будущее. Какие еще кентаврические свойства присущи нам? Думаю, врожденное двуязычие, причем оба языка могут быть в различных комбинациях: немецкий и украинский, румынский и идиш, русский и гуцульский, плюс полдюжины других языков, диалектов, говоров. Ночами же город до сих пор бормочет во сне по-османски, по-арабски, по-древнееврейски. Таким ржанием можно хвастаться во весь голос и дерзко задирать хвост на виду у всех.

Я жил в городе в черновицкий период нынешней кайнозойской эры: в 50-60-е годы XX столетия. Это было время ниспровержения богов, заклания героев, умерщвления памяти. Кентавры табунами носились по улицам и площадям, высекая искры из брусчатки. Но это были дикие свирепые существа с бородами мордами, лошадиными ушами и конскими гениталиями. Черновицкий период прошел стороной, как ушли в доисторическую даль кочевые племена скифов, касситов, тавров.

У классического мифа есть начало и конец. Миф Czernowitz пока не завершен, хотя время кентавров подходит к концу. Кто придет им на смену в XXI столетии? Кто обживется в мифологии города, станет ее венцом? Лично мне кажется, что это будут ихтиокентавры, сочетающие черты и свойства рыбы, коня и человека. Им будет открыт земной, воздушный и водный простор, они будут говорить на языках ветра, влаги, почвы. Нет, бессмертными они не станут, но постоянная прописка в созвездии Центавра им обеспечена. Так что

продолжение следует

Прага